

Фрагмент из романа

Michael Köhlmeier
Die Abenteuer des Joel Spazierer

Carl Hanser Verlag, München 2013
ISBN 978-3-446-24178-7

C. 7-16

Михаэль Кёльмайер
Приключения Джоэля-путешественника

Перевод Альбины Бояркиной
Редактор перевода Ирина Алексеева



Друзья, с которыми я иногда пью пиво и которые меня совершенно не знают, говорят, что мне нужно начинать с чего-то веселого. Вот, например, человек приходит в банк, направляет на женщину в окошечке пистолет и говорит: не бойтесь, это не нападение, это всего лишь немотивированная агрессия с человеческими жертвами. Мой друг, писатель Себастьян Лукассер, который любит и хорошо знает меня, советует заняться пародированием писателей. Он считает – но не высказывает это вслух, – что такой дебют вызвал бы хорошую критику.

Моя история начинается в ту эпоху, которую многие считали уже последней. Лучшие врачи самой великой страны работали на партийцев и армию; лучшие из лучших – на Сталина, Молотова, Маленкова и Берия. Но они выдали все, что знали, иностранным государствам, были арестованы и преданы суду. Их обвинили в государственной измене и даже убийстве, потому что намеренное неправильное лечение подвело к порогу смерти некоторых высокопоставленных людей – даже тех, кто и не умер. Всех этих врачей, будьте уверены, забрали, допросили, пытали, казнили, застрелили, повесили – в общем, ликвидировали.

Моя история начинается в Венгрии; там тоже были такие врачи. Их руководителем был профессор Ернё Фюлёп, заведующий отделением клиники Земмельвайса в Будапеште. Он оперировал, когда в больнице внезапно появились трое. Пришлось попросить младшего ординатора завершить работу. Фюлёпа доставили в управление службы государственной безопасности, где майор Гьёргь Хайош и полковник Миклош Бакони допросили его. Доктора Фюлёпа обвинили в том, что он заодно с московскими врачами. Якобы он пытался убить генерального секретаря Венгерской партии трудящихся, вождя Матьяша Ракоши во время операции на желчном пузыре; кроме того,

Фюлёп якобы поддерживал контакты с югославской разведкой, которая предположительно стояла за заговором (а может быть даже и сам Иосип Броз Тито). Доктор Фюлёп клялся, что не встречал в своей жизни генерального секретаря Ракоши, совершенно точно не делал ему операцию, и с конца Второй мировой войны не был в Белграде или где-то еще в Югославии, и Тито он знает только по газетам, как и любой венгр. После допросов, длившихся всю ночь, он сознался, что у него все-таки есть связь с генеральным секретарем: его жена, профессор Хелена Фюлёп-Ортманн – известный египтолог, чья книга о фараоне Эхнатоне имела огромный успех в Венгрии и была переведена на многие языки, - ходила с кухней Ракоши в одну школу; но это было тридцать лет назад. Тех же троих – Янко Коллара, Лайоша Сантхоо и Жолта Данко, что заезжали за доктором Фюлёпом в клинику, отправили по новому адресу. Они вломились в дверь квартиры номер семь на втором этаже дома по улице Батори и спустили с лестничной площадки Хелену Фюлёп-Ортманн. Она кричала, что в доме остался ребенок, и что они должны ей позволить хотя бы сообщить матери ребенка, что он остается один. Мужчины посчитали, что это только уловка, что она просто ищет возможность выпрыгнуть из окна. Ее, как и ее мужа, доставили в управление госбезопасности на улице Сталина д. 60 и допросили.

Ребенок, которого оставили дома, был я. Тогда меня звали Андраш Фюлёп. Мне не было и четырех лет. Именно с того дня я начинаю себя помнить.

2

Незадолго до появления этих людей, моя бабушка уложила меня на диван в гостиной, чтобы я отдохнул после обеда. Когда я проснулся, в доме никого не было.

Квартира бабушки и дедушки была очень большой; врачи были освобождены от экспроприации, во всяком случае, некоторые из них. Я стал звать свою бабулю, хотел пить и пошел неуверенно через комнату. Подкрался осторожно к кухне - мне показалось, что оттуда доносятся какие-то голоса. А впрочем, мне ведь и раньше. Всегда казалось, что там кто-то разговаривает. Это немного успокоило и обнадежило меня. Моя бабушка была еще совсем молодой – ей было тогда всего лишь тридцать девять! Традиционно в нашей семье у женщин дети рождались рано; всю жизнь у нее были служанки; как дочь дипломата и члена парламента она росла в привилегированном районе столицы Рожадомб в одной из прекраснейших вилл (которая после войны была изъята Красной армией, превращена в Дом офицеров и разграблена); ни она, ни ее мать и сестры никогда сами не готовили, а тут в этой «убогой норе» (на квадратных метрах которой обычно размещались четыре семьи) ей приходилось самой заботиться о завтраке, обеде и ужине для себя, своего супруга и внука и это стало ее послевоенной привычкой, как и ругаться во время готовки (другой привычкой было сморкание в кухонное полотенце). Как известно, венгры мастера ругаться, и моя бабушка, со стороны матери венгерская немка, которая говорила у себя дома только по-немецки, перещеголяла всех, искусно подражая им прокуренным голосом. Поэтому я всегда думал, что кто-то еще был на кухне; и этот кто-то хотел сделать что-то плохое моей бабушке – но она всегда побеждала, потому что я видел, как она входила на кухню, слышал чужую злую ругань на венгерском языке, и потом она выходила с тарелками и кастрюлями. В общем, с ней ничего не случилось. Я был очень горд за нее.

Как только я удостоверился, что никого не было на кухне, я пододвинул стул к раковине, залез на него, открыл двумя руками кран и напился воды – я чувствовал себя, как и бабушка должна была себя чувствовать, победив злого венгерского дьявола, - сильным и смелым. Кран я не закрыл, зная, что скоро снова захочу пить. Я и

проголодаться успел. Справиться с этим было легко. Я поставил стул перед шкафом, на котором стоял эмалированный холодильник. Я взял большой круглый хлеб, отнес в гостиную, стал выковыривать мякоть из каравая и засовывать ее в рот.

Еще раз, но тщательнее, я поискал бабушку в квартире, заглянул даже в кладовую и чулан, посмотрел под шкафом, кроватью, бабушкиным письменным столом, который так приятно пах ее сигаретами. Ее нигде не было. Я не рассчитывал на то, что она когда-либо вернется. Я считал, что никогда никто больше сюда не придет.

На подоконниках в гостиной стояли горшки с комнатными растениями. Мне они никогда не нравились, потому что они загораживали весь вид на небо и потому что некоторые выглядели как страшные руки привидения. Я стал дергать за листья, пока горшки не упали на пол. Почти все разбились. Растения засунул под высокий шкаф с посудой; я не хотел их больше видеть. Землю я собрал в кучу. Она была не маленькой. Я ладошками пригладил поверхность. У меня были две игрушечные машинки, обе красные, одна лимузин, за окна которого я любил зацепляться ногтями, а другая – пожарная машинка с выдвижной лестницей, прицепом и с тонкими резиновыми шлангами и крохотными насосами.

Я играл, пока не захотел в туалет. Это я уже умел делать сам. Я мог смывать, бабушка научила. Мне бы только залезть на унитаз и потянуть за цепь с фарфоровой ручкой. Но я лучше поиграю, накрошу мякоть из хлеба запью водой из крана, достану ложечкой сахар из сахарницы. Когда стало темнеть, я лег рядом с кучей земли. Хорошо бы включить свет. Но я не знал, как его включать. Я никогда не видел, как его включают, а бабушка мне не показывала. Я знал, что вечером свет светил с потолка. Но как он туда попадал, я не знал... Я по-детски наивен, это мне и самому бросается в глаза. Приятели, с которыми я иногда бываю в компании и которые меня вообще не знают, посчитали бы, что я нытик, если бы прочли эти строки – но они, конечно, не

будут их читать. Если взрослый притворяется ребенком, он только ребячится и больше ничего. Нет невзрослых людей. Человек в трехлетнем возрасте не чувствует себя ребенком. То, что ты ребенок, замечаешь лет в пять. А тогда тебе уже совсем не хочется оставаться ребенком. Я никогда не чувствовал себя более взрослым, чем тогда, более серьезным, более живучим – то есть способным адаптироваться к ситуации. Никакой плаксивости. Никакого страха, желания бросить все. Никакой жалости к себе. Никакой правды, никакой лжи. Я мог бы руководить государством.

В некотором смысле я и руководил государством. Обе игрушечные машинки олицетворяли собой все машинки, которые я когда-либо видел, а пуговицы на подушках дивана были народом, который спокойно и по-взрослому наблюдал за происходящим. Я говорил пуговицам – то есть я не разговаривал с ними, а обращался к ним - не сомневаясь при этом, что они в действительности были пуговицами, а не людьми, способными слышать. Они не были людьми, они были пуговицами. А обе машинки не были всеми теми машинками, которые я видел в жизни. Я понимал разницу между выдумкой и реальностью; но понимал, что моя модель реальности необходима, чтобы справиться с настоящей реальностью. Смысл воспитания состоит в том, чтобы постоянно подвергать сомнению эту разницу и все же находить решение в ситуациях, осложненных уже одним тем, что решение необходимо найти.

Уже следующим утром я привык к своей своей новой жизни. Я имею в виду, что воспоминания о моей прошлой жизни стали стираться. Я не скучал по ней. Я уже стал другим. В обед я съел всю мякоть хлеба и приступил к корке. Она мне понравилась даже больше. Я разжевывал ее до каши, потом выплевывал в ладони, охлаждал, дуя, и проглатывал. Потом я узнал, что гиены точно также поступают со своей добычей. Кучу из земли я сровнял и построил из нее дорогу. Она получилась тоненькой, но пролегла через гостиную вдоль окон к раздвижной двери. В некоторых местах по сторонам я расставлял

черепки горшков – это были города. Я собрал все подушки, которые только мог найти в доме – из спальни бабушки и дедушки, с кресла из бабушкиного кабинета, со скамейки на кухне, – и положил их пуговицами вверх вдоль улицы. Вечером я съел весь сахар из сахарницы. Оставались яблоки в корзине и сушеные фрукты. И сливочное масло на подоконнике. И кусочек сыра тоже на подоконнике. Но у сыра был какой-то странный запах.

Ночью я проснулся. Не помню, чтобы я когда-нибудь просыпался посреди ночи. Я не испугался. Наоборот, я чувствовал себя хорошо – даже на подъеме: богоизбранным, благородным, всемогущим и непобедимым.

Это было связано с пониманием чего-то нового. – Было начало января и чувствовалась зима. Бабушка любила, чтобы в доме было тепло, и много тратила на дрова.

Изразцовая печь была хорошо натоплена, но через день дрова все сгорели и в квартире начал чувствоваться холод. До этого я никогда не замерзал, и когда ложился спать, накрывался одеялом, и летом, и зимой. Связь тепла и одеяла не была для меня очевидной. Это было цветное одеяло с вышитыми зверушками, и мне казалось, что оно должно быть только красивым и мягким и ничего больше. Но вечером я замерз и когда я накрылся одеялом, то перестал мерзнуть. Мне не было холодно и когда я ночью прогуливался по квартире, накинув на плечи одеяло.

В ванной стояло огромное зеркало в человеческий рост с шлифованными краями. Я часто в него смотрелся, но тот, кого я там видел, мною не очень-то интересовался. Я с ним дурачился, целовал в губы и прислонял свою руку к его руке. С одеялом на плечах я его никогда не встречал. Только в таком виде я признал в отражении самого себя и понял, что это я сам и никто другой. В одной сказке я

видел картинку человека с одеялом на плечах. Этот человек был королем. Бабушка читала мне эту книгу, но я не все понимал, и она раздражалась, когда я постоянно переспрашивал, поэтому историю до конца мне рассказал дедушка. Король, продолжал он, был родом из города Ксантен – если смотреть мне прямо глаза, я мог легко запомнить незнакомое слово, – и он был самым сильным человеком на земле; одним ударом молота он забивал наковальню в землю; победил дракона, искупался в его крови и поэтому стал неуязвимым; он владел мечом, с которым мог говорить и которому мог приказывать, а еще шапкой, которая превращала его в невидимку; он победил одного карлика и тот подарил ему сокровище из золота, потому что он оставил карлика в живых; и к тому же он взял в жены самую прекрасную и богатую девушку страны.

- Этот король, – рассказывал мне дедушка, – был богоизбранным, благородным, всесильным и непобедимым.

Он видел, что я по-прежнему расстраиваюсь из-за того, что раздражаю бабушку, и стал объяснять мне, что у него и бабушки все происходит как в сказке про Калифа-аиста и великого визиря, которую он мне накануне рассказывал: великий визирь говорил все за Калифа, потому что Калиф был слишком знатен, чтобы самому с кем-то разговаривать, точно также и у него с бабушкой – он говорит за бабушку, но все сказки, которые он рассказывает, на самом деле бабушкины; я ему верил и больше не расстраивался, но все же хотел, чтобы вместо него сказки рассказывала бабушка или кто-нибудь другой.

Я стоял в ванной перед большим зеркалом; был слышен только шум бегущей воды из открытого крана на кухне как далекие аплодисменты; с улицы пробивалось немного света от уличных фонарей; в отражении я видел себя в одеяле, наброшенном на плечи, и казался себе королем из Ксантена. Я гордо проследовал в гостиную и рассказал пуговицам на подушках обо всем, что увидел в зеркале. Но все казалось мне другим – пуговицы будто покорно закрыли веки,

ведь в темноте я не мог их хорошо разглядеть; измятые подушки напоминали израненных солдат. Мебель превратилась в силуэты и как мне казалось, открывала, наконец, свое истинное лицо: упрямство, несговорчивость, недоброжелательность, тягу к бунту и предательству. Я вынул из стеллажей, до которых мог дотянуться, книги и разбросал их по полу, потому что они пялились на меня как вытянутая по стойке смирно неприятельская армия. Я подвинул кушетку и опрокинул кресла и оттоманку - это было непросто, но зато я узнал, например, что иногда можно передохнуть, не прерывая начатое, если под ножку стула подставить книгу. Столик, который стоял у оттоманки, я осмотрел со всех сторон. Под круглой столешницей находились искусно встроенные ящички. В них хранились табак и спички. Как наколдовать из спичек свет я уже знал, потому что бабушка мне иногда разрешала зажигать ее сигареты. Но я не наколдовал огня, я опрокинул столик и один из ящичков раскололся. Наконец, я приволок подушки в ванную, разложил их перед зеркалом, лег, накрылся своей королевской мантией и заснул. Я чувствовал, как шевелились вышитые на одеяле зверушки и слышал, как они звали кого-то; но не меня, они вопрошали весь мир и получали ответ.

На следующий день я рассмотрел свое лицо в зеркале и увидел в солнечном свете, как на самом деле выгляжу. Я увидел свои белокурые локоны и золотистые пятнышки на лбу и на носу, и на щеках. Мое лицо было усеяно веснушками! Многие были в восторге от этого, когда я был маленьким, а когда вырос, эти золотые пятнышки внушали им доверие, что имело свои достоинства – и один недостаток, о котором я потом узнал - если меня кто-то хоть раз видел, то всегда узнавал снова. Последние три дня и две ночи своего отшельничества я не могу вспомнить.

Мама рассказывала позже, что от холода, изнеможения и голода я почти все время спал. Но она повторяла лишь то, что говорил доктор Балаш.

Но вот разговор с этим врачом я очень хорошо помню. Он произошел у него на квартире. У себя на работе он не хотел меня осматривать, потому что не доверял своим помощникам. Он не хотел со мной идти туда и по окончании рабочего дня.

– Если какой-то сосед или прохожий увидит свет и что-то заподозрит, это может быть очень опасно, – сказал он моей матери.

В клинике, где он иногда помогал на приеме больных в амбулатории, наверняка спрашивали обо всем и доносили. В квартире моих бабушки и дедушки, которая находилась поблизости, он ни в коем случае не хотел встречаться, потому что легко могло случиться, что в дверь опять вломятся – и как ему объяснить людям из госбезопасности, что он не имеет отношения к смертоносной конспирации московских врачей, если они собственными глазами увидят, что он осматривает внука врача, чья жена тридцать лет назад вместе с кузиной Матьяша Ракоши ходила в школу?

Он посадил меня на стул в своей кухне, пододвинул другой стул так близко, что его колени дотронулись до моих, и спросил, как мое имя. Он говорил со мной по-немецки. Как друг семьи – так моя мать представила его – он, конечно, знал, что я лучше понимаю по-немецки, чем по-венгерски. Он не сказал: «Как тебя зовут?», а: «Как звучит твое имя?». Я ответил не сразу. Меня часто спрашивали: «Как тебя зовут?», но: «Как звучит твое имя?» еще ни разу. Я задумался, означают ли оба вопроса одно и то же и пришел к мнению, что это не должно означать одно и то же. Я любил слова и был убежден в их неповторимости и экономном использовании, и считал совершенно недопустимым, чтобы два выражения означали одно и то же. Глагол «звучит» сбил меня с толку. Я соединял в голове значения – это должно быть связано с «громкостью». В общем, я подумал, что доктор

Балаш просит меня зачем-то произнести мое имя с вопросительной интонацией. Ну, я и прокричал:

- Андраш!

Дальнейший разговор был продолжением этого недопонимания. Каждый мой последующий ответ был для доктора Балаша подтверждением, что с моей головой что-то не в порядке. Я же видел все в другом свете. Мне казались странными его вопросы, а мои ответы - вполне разумными. Он не мог смотреть мне прямо в глаза, а я в его глаза мог. Он сказал моей матери, что я как-то странно вытаращился на него. Видно, что ребенок потрясен и изможден. Что она со мной должна быть очень осторожной и заботливой.

Особенно серьезно врача заставил задуматься разгром в гостиной. Он не мог себе представить, что ребенок в состоянии устроить такую разруху. Пусть бы он у меня спросил. Я бы его не стал обманывать. Он боялся, что люди из госбезопасности тогда вернулись в квартиру; скорее всего, это был один из них, он пришел безо всякого задания, из простого желания помучить маленького ребенка. Он стал искать на моем теле следы насилия. Я должен был ему показать свой зад и он посветил маленьким карманным фонариком мне в задний проход. Ничего не обнаружив, он испугался еще больше, будто действительно что-то нашел – его фантазия рисовала картины пыток, которые, как он шепнул моей матери, «не укладываются в голове». Но все же, он успокоил мою мать: наверняка ребенок очень скоро все забудет; лучше всего этой теме больше никогда не касаться. Ни-ког-да.

Я подвел черту под всем, что было в предыдущей жизни, чтобы в моей новой жизни, которая будет предоставлена мне одному, найти достаточно места для себя и не спотыкаться постоянно о воспоминания. Я стер из своей памяти, правда, не так, как пророчил доктор Балаш, не только пять дней и четыре ночи, но и все, что было до этого. Я не узнал свою мать, когда она меня нашла. Она, рыдая, стояла в дверях гостиной, закрывая лицо руками. Она позвала меня. Я

вылез из своего логова, но она мне была чужой. Человеческое существование стало для меня чем-то непонятным, потому что больше я себя не ощущал человеком.

- Об этом ты должен непременно написать в первой главе своей книги, - посоветовал мне мой друг Себастьян Лукассер.

Он считал, - но не говорил вслух, - что в обстоятельствах пробуждения моего сознания кроется причина моего ужасного существования, - об этом он тоже не распространялся вслух, - и что я, если расскажу в начале своей книги вышеописанный анекдот и соответствующий вывод, могу рассчитывать на сочувствие своих читателей. Он и сам собирался написать мою историю, даже начал писать - и кое-что прочитал мне из написанного. Я повернулся к нему спиной, когда слушал, и весь затрясся. Он подумал, что я растревожен событиями своей жизни и, наверное, плачу. Я смеялся. Он любит меня и хочет доказать всему миру, что я по сути достоин любви. Я не разрешал ему спасать себя, рассказывая эту историю. Не хочу ни в коем случае, чтобы мой образ стал прототипом героя какого-нибудь романа.